

КУЛЬТУРА

А.С. БАРАНОВ

Образ террориста в русской культуре конца XIX - начала XX века

(С. Нечаев, В. Засулич, И. Каляев, Б. Савинков)

Согласно определению, представляющемуся мне наиболее удачным, террор - это "способ управления социумом посредством превентивного устрашения" [1], т.е. система действий, предназначенных для мощного устрашающего воздействия на психику общества с целью добиться санкции последнего на реализацию определенных идеологических установок.

Обращение к террору - это отказ от попыток логического убеждения общества в правильности своего образа мыслей, переход к полемике с ним на уровне более глубоком, чем существующие в обществе политические учения, на уровне национальной психики. Террор является не просто насилием, а демонстрацией насилия, и обращение к этому методу управления неизбежно приводит террористическую организацию, рационально стремящуюся к успеху своей деятельности, к разработке и соблюдению определенных правил представления себя обществу. Они базируются на образе террориста, способного не только устрашать, но и быть привлекательным, способного облегчить обществу путь к подчинению террористической организации.

Если в настоящий момент невозможно выявить закономерности, которые приводят к возникновению в обществе организаций, решающихся для достижения неких целей обратиться к политике террора, то можно сказать, в каких случаях успех деятельности террористов является полным. Это происходит, когда общество оправдывает, извиняет действия террористов, признает их "своими", когда представленный образ террориста оказывается адекватен настроению общества и *преобразовывает* его в нужном для террористической организации направлении.

Общество, оправдавшее террор, давшее санкцию на него, "заражается" им. Оно снова подчинится террору, если кому-нибудь удастся повторить один раз найденный оптимальный способ взаимоотношений террористической группы и общества. Это общество становится "вирусоносителем" терроризма, в его сознании, в культуре живет образ террориста "оправданного", иногда даже террориста "канонизированного".

Россия является страной, не просто пережившей в конце XIX - начале XX века беспрецедентную по своим масштабам и продолжительности волну революционного терроризма, но и органически принявшей в свою культуру целый пантеон "героев-террористов" ранее, чем она стала жертвой "самой прогрессивной в истории человечества" идеологии.

Механизм "включения" в отечественную культуру террора и терроризма можно проследить через процесс рождения и развития в ней образа террориста. Основными вехами в нем стали крупнейшие "террористические" судебные процессы конца XIX -

Баранов Александр Сергеевич - аспирант кафедры истории и теории культуры Российского государственного гуманитарного университета.

начала XX века, каждый из которых соединял в себе конкретное политическое действие и его образное представление и интерпретацию. Имеются в виду: дело об убийстве студента Иванова нечаевской "Народной расправой" (1869 год), суд над покушавшейся на петербургского генерал-губернатора Ф. Трепова В. Засулич (1878 год), суд над убийцей Великого князя Сергея Александровича И. Каляевым (1905 год) и один из первых советских показательных "террористических" процессов - суд над Б. Савинковым (1924 год), ярким персонажем как русского революционного терроризма второй волны (1901-1911 годы), так и антибольшевистского, "белого" террора эпохи гражданской войны.

На каждом из этих процессов русское общество по-новому решало для себя проблему отношения к террору и террористам, и это решение определяло характер новой фазы развития террора.

Необходимо оговориться, что объектами рассмотрения в данном случае являются не конкретные исторические персонажи: Нечаев, Засулич, Каляев и Савинков, о которых мы теперь знаем довольно много, а те "Нечаев", "Засулич", "Каляев", "Савинков", которые потрясли *современное* им общество, то, какими *оно их знало* и как интерпретировало.

* * *

Впервые революционный терроризм предстал перед русским обществом как порождение и доведение до логического предела "нигилистического" культурного бунта конца 50-60-х годов XIX века. Радикалов этого времени объединяла не столько общая идеология, сколько общее резко отрицательное отношение к современному миру и его культуре. Порывая с "этим" обществом, отказываясь принимать его традиционный образ жизни и соответствовать общепринятым нравственным нормам, "нигилисты" состоялись как "бунтари", еще толком не определив основных черт своей идеальной цели.

Характерно, что наиболее полно "нигилистический" культурный бунт выразился не в создании некоей новой культуры, а в критической литературе, в вынесении строгих рецензий порождениям старой. Д. Писарев, П. Ткачев и многие другие представители этой среды, выводя себя за пределы традиционной русской культуры, писали по преимуществу для "своих", не ставили целью произвести на обывателя какое-либо иное впечатление, кроме шока. И образ "нигилиста" был определен в русской литературе не ими. Он родился в результате полемики по поводу отношения к этому явлению между либеральными и консервативными течениями в русском обществе, выяснявшими отношения посредством соответственно "нигилистического" и "антинигилистического" романов. Сами же "нигилисты", не выражая себя в художественном творчестве, лишь наблюдали за тем, насколько неправильно их изобразили в том или ином случае. Не принадлежали непосредственно к этой среде ни "старший товарищ" Н. Чернышевский, ни "сочувствующие" Н. Некрасов, И. Тургенев и др. Тургенев, автор самого знаменитого "нигилистического" романа "Отцы и дети", создавая своего Базарова, выступал в качестве переводчика образов и взглядов представителя этой среды на нормальный, т.е. понятный всем, художественный язык своего времени.

Все основные черты, свойственные "нигилистической" среде, — ярко выраженный догматический материализм, презрение к обывателю и полное отсутствие желания ему понравиться, ненависть к современному обществу, его культуре, морали - характерны для всех основных фигур, с именами которых связано начало террористической кампании. Это П. Зайчневский (автор первой "террористической" прокламации "Молодая Россия"), первый террорист-неудачник Д. Каракозов, первый теоретик русского революционного терроризма Ткачев и, наконец, первый действительно состоявшийся террорист Нечаев.

Двойная неудача покушения Каракозова на Александра II (1866) заключается в том, что, не попав в императора, он не состоялся как убийца, "не попав" в общество -

как террорист. Задуманный им террористический акт "не был объяснен", общество не вполне поняло цель этого покушения, не осознано *проблемы* отношения к террору и терялось в догадках, истолковывая мотивы этого покушения. По воспоминаниям Кропоткина, "вся Москва" поверила "намекам" М. Каткова, "что Каракозов явился лишь орудием в руках Великого князя Константина Николаевича" [2, с. 248].

Первым *действительно состоявшимся* актом превентивного устрашения для русского общества стало организованное Нечаевым убийство студента Иванова.

Убийство было тщательно продуманным и выполненным террористическим актом "внутреннего назначения". Это было наказанием за непослушание для конкретной жертвы и актом устрашения для других членов "Народной расправы", которые в данном случае являлись и "террористами", и "обществом" в одном лице.

В свою организацию Нечаев привлекал молодых "нигилистов", объединяемых лишь смутным бунтарством, попавших в "ряды революционеров", еще толком не решив, чего они хотят: свержения царя или организации студенческой кассы взаимопомощи. Для Нечаева они были, скорее, не единомышленниками, а "обществом", которым он попытался управлять при помощи террора. Большинство членов "Народной расправы" узнало о содержании "Катехизиса революционера" - кровожадной и циничной программы Нечаева - только на скамье подсудимых. Управляя ими, Нечаев не просто прибежал к обману и шантажу, он старательно играл для них роль грозного и магически привлекательного посланца всемогущего "заграничного" комитета. Последовательно создавал для новоиспеченных "революционеров" легенду о самом себе. Грозное обаяние лидера было главным стержнем "Народной расправы", отказ верить в эту легенду стоил жизни студенту Иванову.

В практической деятельности Нечаева задача построения "нового мира" странным образом предшествовала задаче уничтожения старого. Нечаев совершенно не заботился о том, каким его воспримет современное общество; гениальный актер и мистификатор "для своих", он был прямолинейным и однозначным врагом для того мира, который был приговорен им к смерти. Лучше всего Нечаева охарактеризовал перед русским обществом текст "Катехизиса революционера", который был обнаружен у одного из арестованных и опубликован в центральной прессе. "Он (революционер. - А.Б.) не признает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех ее проявлениях и побуждениях нынешнюю общественную нравственность... он не революционер, если ему чего-либо жаль в этом мире" [3]. Революционер находится вне этого общества, "работает" для его уничтожения, и право на насилие, таким образом, принадлежит ему по определению.

Благодаря публикации "Катехизиса" и откровенным показаниям арестованных убийство студента Иванова из темной уголовной истории неожиданно превратилось в глазах общества в зловещую акцию, несущую угрозу всему современному миру, "Катехизис" выглядел как объявление смертельной войны на уничтожение; убийство осуществленное по нему, показывало, что это не шутка.

Как известно, дело Нечаева стало основой сюжета знаменитого романа Ф. Достоевского "Бесы". Он писался Достоевским не для Нечаева и не для полемики с его единомышленниками. Само убийство, происходящее в романе, и люди, его совершившие, настолько отвратительны, что для Достоевского нет проблемы в том, как к ним относиться. Объектами полемики в романе являются реальные прототипы Верховенского-старшего и писателя Кармазинова - Грановский и Тургенев, т.е. представители либеральной среды, которые, по мысли Достоевского, несут прямую ответственность за то, что "бесы" могут стать так опасны. Разъясняя задачу поставленную в романе, Достоевский в "Дневнике писателя" за 1873 год указывает на три причины, которые, по его мнению, привели к возникновению этого кровавого явления: заражение атеизмом и социалистическими идеями, развращающая молодежь лезть "псевдолибералов" и деятельность негодяев-нечаевых [4].

"Бесами" Достоевский собирался поставить точку в этом вопросе. Он предельно ясно и однозначно высказал то, что думает о революционерах. Оправдание исклю-

чено, диалог невозможен и не нужен. Если Нечаев ставил своей целью уничтожение этого "поганого общества", то "поганое" общество устами Достоевского желало ему того же.

Первое знакомство русского общества с революционным терроризмом явило перед ним кровавый образ человека, не знающего моральных преград и стремящегося к уничтожению всего и вся во имя малопонятной цели. Это знакомство вызвало по отношению к террористам резкую реакцию отторжения.

Но через некоторое время оказалось, что точку в этом вопросе ставить рано. Покушение В. Засулич на Трепова и, особенно, интерпретация этого события в ходе суда над ней показали революционному лагерю, *как должен выглядеть* террористический акт, чтобы он поставил общество в тупик, и каким должен быть образ террориста, чтобы совершенный им акт насилия из действия безусловно осуждаемого превратился в проблему, не поддающуюся однозначному истолкованию.

Благодаря тактике защиты, выбранной адвокатом П. Александровым, поступок Засулич предстал на суде как спонтанное действие, осуществленное девушкой-одиночкой, которая решила на страшную месть Трепову, поскольку не видела иного способа привлечь внимание общества к издевательствам властей над политическими заключенными. Ход процесса вовсе не был просчитан террористкой заранее, его результат в значительной степени зависел от целого ряда случайностей. "Предвидение" Засулич, как сама она впоследствии вспоминала, не шло дальше того, что после покушения она могла подвергнуться побоям [5]. Кроме того, в день, когда состоялось ее покушение на Трепова, должен был произойти еще один террористический акт, который не был совершен лишь благодаря случаю. Произойди он, и на суде речь шла бы о заранее тщательно спланированных акциях.

Как известно, суд завершился оправданием Засулич присяжными и грандиозной по тем временам манифестацией ее поклонников. Реакция присяжных представляет интерес в данном случае не с точки зрения юридической правомерности их вердикта, а как отклик людей, в чьих глазах уголовное дело было извинено образом террориста-мученика, чье нападение было превращено в защиту общего для всех честных людей дела.

Власть не сумела противопоставить подсудимой ровным счетом ничего: "С каждой минутой я все сильнее чувствовала, что нахожусь... в состоянии полнейшей неуязвимости... Что бы ни придумали эти господа - я-то буду спокойно посматривать на них из какого-то недосягаемого для них далека" [5].

Фактически в ходе процесса над Засулич русское либеральное общество само нашло достаточно убедительные аргументы того, что Трепов наказан по заслугам, и состоялось первое представление образа террориста-мученика, стремление к новому воспроизведению которого определит впоследствии характер террористической деятельности как "Народной воли", так и ее наследников из партии социалистов-революционеров (далее П.С.Р.).

Жертвы террористических актов для "Народной воли" и Боевой организации (Б.О.) П.С.Р. всегда выбирались с тем расчетом, чтобы их общественная репутация соответствовала официально заявляемой цели террора. Сам террор, по народовольческо-эсеровской традиции, представлялся вынужденно ответной мерой, не имеющей иной цели, кроме обеспечения возможности заниматься "мирной работой". Как бы ни эволюционировали в сторону дальнейшей политической радикализации представители революционного народничества в своей "внутренней", скрытой от глаз общественности деятельности, в своих заявлениях, адресованных обществу, они последовательно стремились предстать защитниками общих для "всех честных людей" целей независимо от идеологической принадлежности. Отказываясь от громогласного революционизма и шокирования общества своим "нигилизмом", они пытались добиться сочувствия общества к своей борьбе.

Еще один новый момент, появляющийся у террористов конца 70-х - начала 80-х годов, - выдвижение правительству требований, выполнение которых может оста-

новить проведение террористических актов. Теперь у общества появилось право выбора - выполнение требований террористов и прекращение террора через подчинение им или дальнейшее участие в смертельной схватке. Характерно, что, формулируя свои требования, и "Народная воля", и в дальнейшем П.С.Р. полностью исключали из них собственные социалистические воззрения и выбирали лишь те, под которыми подписался бы любой представитель либерального общества: амнистия для лиц, арестованных за какие-либо убеждения, свобода слова и прекращение административного произвола. У эсеров появляется лишь одно новое требование, которое к началу XX века разделяло огромное число "полевевших" к этому времени либералов, - требование созыва представительного органа власти.

По сути, в народовольческо-эсеровском терроре содержалось приглашение общества к сотрудничеству и безусловное желание найти союзника в лице либералов, тех либералов, которые оправдали Засулич. Удачность неожиданно представшего перед русским обществом образа Засулич стала вехой в изменении его отношения к террору и террористам, от первой реакции - отторжения, ко второй - осознанию неоднозначности проблемы.

То чувство растерянности, с которым русское общество наблюдало за террористической борьбой народовольцев, раздумывая, считать ли ее прекрасным подвигом или чудовищным преступлением, своеобразно отразил В. Гаршин в своем "Красном цветке" (1883 год). Гаршинский безумец ведет смертельную борьбу с мировым злом, которую читатель видит в двух планах: с точки зрения больничного персонала, как нелепые попытки больного испортить клумбу, вырывая заботливо выращенные цветы, и с точки зрения самого больного, убивающего зло, принявшее "невинный и скромный вид" цветка. В этой странной борьбе он выступает и как убийца зла, и как мученик, принимающий на себя всю ненависть, исходящую из цветка, чтобы не дать ей "излиться в мир".

В феврале 1880 года сам Гаршин добился аудиенции у ставшего накануне жертвой террористического покушения М. Лорис-Меликова и пытался убедить его помиловать террориста Молодецкого. Отказ Лорис-Меликова привел Гаршина к тяжелому нервному расстройству [6].

Известно противоречивое отношение к террористам позднего Достоевского. В том, как предстала на суде Засулич, не было ни одного из тех моментов, на которые Достоевский ранее указывал как на причину разгула "бесов". Увиденный как акт спонтанный, ее поступок также отвергал параллель с "теоретическим" убийством Раскольников. "Наказание неуместно", - сказал автор "Бесов" Г. Градовскому в зале суда над Засулич в ожидании вынесения вердикта присяжных [7]. Новые "Бесы" были так же неуместны, как и наказание Засулич.

В одном из будущих романов Достоевский собирался "сделать" революционером-террористом Алешу Карамазова [8]. Конечно, нельзя оценивать произведения, которые так и не были написаны, но сам факт того, что Достоевский решился таким образом пожертвовать самым любимым героем, достаточно показателен. Эпохой революционного терроризма навеян и известный эпизод из "Братьев Карамазовых", в котором Иван рассказывает Алеше о некоем помещике, затравившем ребенка собаками. Что нужно сделать с таким человеком? "... Расстрелять? Говори, Алешка!

- Расстрелять! - тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата.

- Bravo! - завопил Иван в каком-то восторге..."

С просьбой о помиловании цареубийц к Александру III обращался Л. Толстой, также едва не сделавший террористом своего любимого героя - Пьера Безухова. К тому же призывал в своих публичных выступлениях и Вл. Соловьев [9].

Гаршин, Достоевский, Соловьев, Толстой, мягко говоря, не являлись социалистами, и все они действительно считали, что революционеры совершают преступление, однако в этом преступлении было одно "но", которое мешало однозначно заклеить революционеров как преступников. Они представляли людьми, защищающимися от

еще более страшного зла, которое "молча сносило" общество; в этом самопожертвовании заключалось оправдание совершаемых убийств, от которого нельзя было просто отмахнуться.

Первым революционером-террористом, который пришел к выводу, что наиболее действенным способом оправдания террора является не просто политическое заявление, рассчитанное на *логическое убеждение* в правильности проводимой политики, а образное художественное произведение, нацеленное на завоевание сочувствия читателя, был С. Степняк-Кравчинский.

Еще во время знаменитого "хождения в народ" (1873-1874 годы), одним из активнейших участников которого являлся Кравчинский, он осознал, что для достижения конкретных результатов иногда необходимо отказаться от резкого объявления своих взглядов и попробовать говорить на языке, который привычен тем, с кем он говорит. Особенно ярко это проявилось в отношении материалиста Кравчинского к религии: "Сергей, - вспоминал П. Кропоткин, - знавший Евангелие почти наизусть, толковал его мужикам и доказывал стихами из него, что следует начинать бунт" [2, с. 303]. В то же время Кравчинский создает несколько "революционных" сказок "для народа", в которых нарочито крестьянским языком излагает основы социалистических воззрений. Пока речь шла о пропаганде идеологической, но уже здесь Кравчинский переходит от некогда сформулированной Ткачевым цели "поднять" народ до уровня революционеров к обратной цели, "принизить" их до уровня, понятного всем. В художественных и публицистических произведениях Кравчинского 80-90-х годов эта установка особенно заметна.

Уже в своем знаменитом сборнике очерков по истории русского революционного движения "Подпольная Россия", впервые опубликованном в Италии в 1882 году и затем переведенном на многие европейские языки, Кравчинский "жертвует" пропагандой идеологической ради разработки и пропаганды "иконографии" тех, которые, по его мнению, будучи просто благородными и честными людьми, не могли не встать на путь террористической борьбы против русских властей. То же самое можно сказать и о всех художественных произведениях Кравчинского. Это уже не литература "для своих"; стремление оправдать террор приводит Кравчинского к обращению "к миру".

Каждое из произведений Кравчинского адресовано определенной социальной группе читателей с соответствующими интеллектуальными запросами, со своим "героем-революционером". Революционер - романтический герой-любовник "обывательской" повести "Домик на Волге" (1889 год), своеобразной стилизации под "Дубровского". Революционер-мученик, подающий пример отваги и самопожертвования, в адресованном либеральной интеллигенции и учащейся молодежи романе "Карьера нигилиста" (1889 год; в русском переводе "Андрей Кожухов"). Революционер-проповедник, борец против "фарисеев" официальной церкви в "баптистском" романе "Великий путь печали конца XIX века" (1893 год; в русском варианте "Штундист Павел Руденко") и т.д.

В лице Кравчинского радикально настроенная революционная среда впервые без посредников и "переводчиков" решилась представить себя миру в художественных произведениях, и для этого были выбраны самые замшелые, набившие оскомину не одного поколения читателей сюжеты и образы. "Настоящие" революционеры Кравчинского, как ни странно, занимают гораздо менее революционную позицию по отношению к обществу, чем придуманный дворянином Тургеневым Базаров. Они никого не шокируют резкими речами и пытаются не убедить, а "соблазнить". Не случайно излюбленный мотив Кравчинского - мотив двойного соблазнения. В результате любовной интриги, неизменно присутствующей в его романах, героини "соблазняются" дважды: они становятся не только революционерками, но и женами героев.

Кравчинский - это конец революционности и бунтарства в культуре для русского революционного движения. Четко осознанная политическая цель - оправдание террора - вернула его в лоно традиционной культуры. С этого момента искусство

превращается для революционеров в орудие политической борьбы и в таком качестве эксплуатируется впоследствии. Наследниками Кравчинского являлись: его литературная ученица и переводчик Э.-Л. Войнич, М. Горький ("Мать"), Н. Островский и многие другие.

Как на своего рода эпилог первой волны русского революционного терроризма можно посмотреть на повесть А. Чехова "Рассказ неизвестного человека" (1893 год). Чеховский "террорист" - добрый, симпатичный и заурядный человек, такой же обычный персонаж, как и другие герои повести - неверная жена, сбежавшая к любовнику, и сам любовник, который не знает, как от нее избавиться. Террорист занимается прислужкой к молодому аристократу, его цель - убийство отца "хозяина", влиятельного государственного деятеля. Здесь и появляется неверная жена, оказавшаяся ненужной "хозяину" террориста. Насмотревшись на страдания бедной женщины, террорист меняет свой план. Отказавшись от убийства, он открывает героине свое настоящее лицо и уговаривает ее бежать вместе с ним за границу. Героиня в восторге от нового знакомого, скоро она уже готова принять его "идеи" и тоже включиться в борьбу. Но террористу теперь это не интересно, ему хочется лишь простого семейного счастья. В итоге героиня обманута дважды, в финале повести она произносит фразу, которая кажется ответом Чехова "идейным соблазителям": "Он трус, лжец и обманул меня, а вы? Извините за откровенность: вы кто? Он обманул и бросил меня на произвол судьбы... Но тот хоть идей не приплетал..." [10].

Ко времени написания повести терроризм перестал быть для России чем-то новым. В "Рассказе неизвестного человека" отразились два момента: ироничная полемика против "идейных соблазителей" и признание того, что цель их достигнута.

Начало новой волны революционного терроризма (1901-1911 годы) было встречено в России едва ли не аплодисментами. Убийства Д. Сипягина, Н. Боголепова, В. Плеве, Великого князя Сергея Александровича, покушение на К. Победоносцева фактически явились моментами консолидации революционеров и огромной части политически активного русского общества.

Террор Б.О. П.С.Р. своей устрашающей частью был направлен исключительно против правительства, любые карательные действия которого вызывали всеобщее возмущение. Новое поколение либералов уже не надо было подталкивать к протестам.

К этому времени проблема отношения к террористам фактически была решена обществом в пользу последних. Мученичество террористов, идущих на смерть, заслоняло факт совершаемых ими убийств. Яркой иллюстрацией подобного "двойного стандарта" по отношению к ценности человеческой жизни является повесть Л. Андреева "Рассказ о семи повешенных". Возмущение автора жестокостью государства, практикующего скорые и безжалостные казни революционеров, вовсе не распространяется на террористическую деятельность последних.

Благодаря "деидеологизации" террора, стремлению эсеров быть в своем терроре выразителями общих с либералами интересов в начале XX века появляется категория людей, сочувствующих террору и не являющихся при этом сторонниками какой-либо из революционных идеологий. "Юноша с бомбой" становится символом эпохи первой российской революции. Именно их имел в виду Блок, говоря о том, что русская революция в лице лучших своих представителей - это юность с нимбом вокруг головы. То же, хотя с совершенно иным отношением к явлению, констатировал и С. Булгаков, говоря о "духовной педократии" в современной ему интеллигенции.

Террористы вызывают симпатии у писателей круга Горького и Андреева, представителей "нового религиозного сознания" - Д. Мережковского, З. Гиппиус, С. Философова, наконец, у символистов. "Революционные" и "кровавые" мотивы в первые годы XX века начинают звучать в поэзии А. Блока, В. Брюсова, К. Бальмонта. Это вовсе не было возвращением символистов из потустороннего идеального мира в "низменный" мир политики, изменой эстетическому принципу бесцельности искусства. Изменение "тональности" поэзии символистов тех лет было продиктовано тем, что

слово "революция" оказалось созвучно их поиску внутренней свободы. Она не имела политического оттенка, а казалась бунтом красоты и индивидуальности против серости и обыденности, который персонифицировался для них в людях, отважно выходивших с бомбой в руках на "битву с чудовищем".

Для "традиционных" представителей революционной среды, "законсервировавшихся" в прикладном, пропагандистском отношении к искусству, поиски представителей "нового религиозного сознания" и "нового искусства" были абсолютно чужды и казались реакционным бредом. Но тот факт, что наиболее действенным орудием революционной пропаганды в конце XIX века являлась не труднодоступная социалистическая литература, а вполне легальные отчеты о судебных "террористических" процессах, привел к тому, что многие террористы новой эпохи оказались в "рядах революции" не из-за согласия с конкретными партийными программами, а из-за жажды личного подвига, стремления подражать героям "Народной воли". Многие из этих людей были зачастую партийными одиночками, имеющими собственное отношение к террору, иногда существенно отличающееся от партийной программы. "Я не могу жить теми же мыслями, что и они, но могу жить теми же делами", - так определял характер своих отношений с П.С.Р. Савинков [11]. Убийца Плеве - Е. Созонов - начинает испытывать на судебном разбирательстве те трудности при объяснении смысла совершенного им убийства, которые не были знакомы его предшественникам из "Народной воли". "Личные взгляды в сторону, надо было говорить о программе", - писал он о своем настроении накануне суда [12, с. 50]. В свое время запрет А. Желябову говорить на суде от имени партии казался равносильным запрету говорить вообще.

Именно в жизни и террористической деятельности этих партийных одиночек, прежде всего Каляева и Савинкова, произошел момент соприкосновения радикальных течений политической и культурной жизни России начала XX века.

Каляев, убивший по заданию Б.О. П.С.Р. в феврале 1905 года дядю Николая II Великого князя Сергея Александровича, сам был поэтом и поражал своих товарищей по террору не только своей любовью к символистам¹, но и ярко выраженным религиозно-эстетическим отношением к готовившемуся террористическому акту. "Дворцы... странно, когда ходишь среди них один, создается иллюзия, как будто мы покинуты одни в битве с каменными громадами" [13, с. 10, 11], - говорил Каляев Созонову о своих впечатлениях во время подготовки покушения на Плеве (1904 год), в котором Каляеву не удалось стать главным исполнителем. Смерть на эшафоте представлялась Каляеву не просто вершиной карьеры террориста, но и "мистическим браком с идеей", к которому он долго и серьезно готовился. "Есть счастье еще выше, чем смерть во время акта, - умереть на эшафоте. Смерть во время акта, как будто оставляет что-то незаконченным. Между делом и эшафотом еще целая вечность - может, самое великое для человека. Только тут узнаешь, почувствуешь всю красоту, всю силу идеи. Весь развернешься, расцветешь и умрешь в полном цвете... как колос созревший" [14].

Конечно, нельзя сказать, что Каляев был "распропагандирован" символистами, но информацией о том, каким образом задумал и исполнил свою роль, он действительно был обязан им. Он "вернул" им их же собственные настроения в виде реального действия и тем самым дал новый прекрасный материал для дальнейшей поэтизации революции.

Каляев стал символом высшего подъема второй волны русского революционного терроризма. Это произошло не только потому, что он убил одного из ближайших родственников царя. Его смогли увидеть в нимбе и отыскать в нем *свое* самые разные люди - от профессиональных революционеров-партийцев до либералов, от призем-

¹ Имена Блока, Бальмонта, Брюсова были для него родными. Он не мог понять ни равнодушия к их литературным исканиям, ни тем менее отрицательного отношения к ним" [12, с. 321].

ленных реалистов до эстетствующих декадентов. В его ярко выраженном индивидуализме и нарцисстическом созерцании собственного "подвига" уже крылось нечто нездоровое с точки зрения социалистической партийной морали. Но конфликт между индивидуально-эстетическим отношением к террору и партийными интересами произошел позднее, в деятельности друга Каляева - Савинкова.

Если в свое время Кравчинский в "Подпольной России" давал вместо портретов сильно приукрашенные изображения народовольцев, то по отношению к посмертным портретам Каляева, созданным его бывшими товарищами по Б.О. (П. Ивановской, Савинковым, Созоновым), слово "икона" хочется употреблять без кавычек.

"Общее впечатление внутреннего сияния. Широкий благородный лоб... худощавое лицо аскета, с улыбкой ясной и озаряющей... холодом повеяло от этой белоснежной чистоты... Юноша Сергей Радонежский на картине Нестерова - пришла мне мысль", - вспоминал о Каляеве Созонов [13, с. 8]. Он, как и другие основоположники иконографии Каляева, уже не оправдывал его, а "канонизировал".

Процесс над Каляевым представляет интерес еще с одной точки зрения. В ходе суда подсудимый чувствовал себя настолько же неуязвимым, как Засулич в свое время. С той лишь разницей, что если образ Засулич в целом явился удачной импровизацией, то Каляев старательно и долго готовился к исполнению своей роли. Но здесь произошла неожиданность - власти, до той поры ничего не пытавшиеся противопоставить образу террориста, предприняли акцию, которая полностью выбила Каляева из колеи. В лице вдовы убитого им Великого князя - Елизаветы Федоровны - ему был противопоставлен "ответный" мученический образ.

В опубликованных недавно письмах Елизаветы Федоровны к Николаю II великая княгиня предстает сторонницей самых жестких и решительных мер в отношении любого вольнодумства вообще и революционного терроризма в частности. "Неужели нельзя судить этих животных полевым судом?" - спрашивала она у императора в письме, написанном в 1902 году вскоре после убийства Сипягина, и сама же отвечала на вопрос: - "Необходимо сделать все, чтобы не допустить превращения их в героев ... чтобы убить в них желание рисковать своей жизнью и совершать подобные преступления (я считаю, что пусть бы он лучше заплатил своей жизнью и таким образом исчез!). Но кто он и что он - пусть никто не знает... и нечего жалеть тех, кто сам никого не жалеет" [15].

И вдруг, после трагической смерти мужа от рук одного из "этих животных", она приходит в камеру к его убийце, прощает его, дарит икону и демонстративно обращается к государю с просьбой о помиловании злодея. Обстоятельства этого свидания были представлены обществу в таком виде, который совершенно не соответствовал замыслу Каляева, - кающийся грешник принимает прощение, целует и кладет у своего изголовья великодушно подаренную икону.

Этот эпизод подействовал на Каляева так, как ничто другое. Ярость террориста вполне понятна - ему не просто подавали "не те реплики", его всего вместе с так тщательно задуманной и исполненной ролью вставляли в совершенно иную пьесу, в житие другого мученика.

Встреча Каляева и вдовы его жертвы - центральный эпизод в зеркальной" агиографической литературе, посвященной, соответственно, пламенному революционеру Каляеву и великомученице Елизавете.

Начало кризиса революционного терроризма относится к концу 1906 года, когда П.С.Р. стала стремительно терять монополию как на проведение политики террора, так и на его представление обществу. Связано это было с кровавыми акциями эсеро-максималистов, которые, так же как в свое время Нечаев, находились с "этим миром" в состоянии непримиримой войны на уничтожение и абсолютно не заботились о том, какое впечатление произведет их деятельность на либералов. "Политическая репутация моих старых друзей-эсеров стремительно падала по мере того, как знамя политического террора переходило от них в руки одиночек-максималистов" [16], - с горечью констатировал этот процесс П. Милуков. Кроме того, падению "престижа"

понятия "террорист" способствовала его быстрая "демократизация": он стал приобретать уголовный оттенок.

Падение интереса со стороны общества к судьбам "борцов за общее благо" почувствовал на себе и один из наиболее почитаемых террористов второй волны - убийца Плеве Созонов: "Нас забывают, прекращается приток средств и скоро придется положить зубы на полку", - писал он родственникам из Акатуйской тюрьмы в конце 1906 года.

В 1909 году разгорелись два крупных скандала, которые нанесли сильнейший удар по престижу террора. Оба скандала были непосредственно связаны с деятельностью Б.О. П.С.Р.: разоблачение Азефа, в течение ряда лет совмещавшего руководство Б.О. со службой в департаменте полиции, и публикация повести "Конь Бледный", автором которой был Савинков (В. Ропшин) - второй после Азефа человек в Б.О.

Можно спорить о том, случаен или не случаен был Азеф, но его разоблачение действительно было делом случая. Это был сильный и уже завершающий удар по террору. Что касается "Коня Бледного" и последующих произведений Савинкова ("То, чего не было", 1912 год; "Воспоминания террориста", 1917 год), то они в исключительно острой форме поставили две проблемы, которые в течение нескольких лет витали в воздухе: вопрос об "идейных уголовниках" и вопрос о праве партии руководить деятельностью террористов, истолковывать ее в своих интересах.

В "Коне Бледном" впервые в революционной литературе был поставлен знак равенства между убийством "во имя идеи" и обычным уголовным преступлением, убийством в "личных целях". Савинков показал несколько специфических образов террористов, среди которых не оказалось ни одного, соответствующего "канону" Кравчинского. Наличие в повести "идейного уголовника" не имело своей целью показать этот тип как явление безусловно отрицательное для "дела", не даже как нечто просто случайно совпавшее по времени с деятельностью других, "ангелоподобных", террористов, как в "Рассказе о семи повешенных" Л. Андреева. У Савинкова они - это абсолютно нормальное, обыденное явление, гораздо более нормальное, чем наличие "партаппаратчиков", воображающих, что они руководят террором, который "на самом деле" является делом личной совести террориста. Обращение к террору, по Савинкову, определяется индивидуальной неспособностью террориста, "не ломая себя", заниматься "мирной работой", а раз обращение к террору вызвано не решением партии, а личным решением террориста, то какое право имеет партия *останавливать* или *объявлять* о начале террора по собственному усмотрению.

В своем творчестве Савинков отказался от обязательного для партийного писателя принципа политической целесообразности при оценке террора. Подобная дерзость привела к резкому конфликту между ним и руководством П.С.Р., завершившемуся полным разрывом. Но уходя, Савинков уносил с собой "лики" павших товарищей-террористов, отстаивая тезис о том, что только человек, принимающий личное участие в терроре, имеет право быть его истолкователем.

В 1924 году Савинков сам стал главным действующим лицом одного из первых показательных "террористических" процессов новой власти.

Это было грандиозное и тщательно срежиссированное действие, рассчитанное на сильнейший резонанс как в СССР, так и в эмигрантских кругах. Несмотря на то что Савинкова изловило и судило за терроризм уже *другое* государство, этот процесс теснейшим образом был связан с эпохой революционного терроризма начала века.

Судьба террориста, боровшегося когда-то "вместе с народом" против самодержавия и "изменившего", "оторвавшегося от народа" в дальнейшей террористической деятельности, - вот главный мотив как самого суда, так и знаменитого заявления Савинкова "Почему я признал советскую власть". Признав "ошибочность" своей послеоктябрьской борьбы, Савинков признавал, что тени его погибших товарищей не с ним, а с "народом", интересы которого выражает советская власть. Фактически он отдавал большевикам то, что так активно пытался отнять у эсеров, - право владения "мертвыми душами".

Юридическое оформление совершенной сделки происходило в том же августе 1924 года. Одновременно с вынесением смертного приговора Савинкову (замененного тут же десятью годами тюремного заключения) была начата широкомасштабная кампания по увековечиванию памяти Каляева. С августа 1924 по январь 1925 года именем Каляева были названы три (!) улицы в Москве и ближайшем Подмосковье, а также площадь в Кремле. Конечно, этой чести был удостоен не эсер Каляев, когда-то порвавший с социал-демократами, а "Каляев" - "юноша с нимбом вокруг головы", который был "канонизирован" огромной частью русского общества и теперь торжественно "приватизировался" советской властью, становясь одним из последних звеньев в длинной цепи героических предшественников восторжествовавшей "власти трудящихся".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Одесский М., Фельдман Д.* Террор как идеологема (к истории развития) // *Общественные науки и современность.* 1994. № 6; 1995. № 1.
2. *Кропоткин П.* Записки революционера. М., 1988.
3. *Нечаев С.* Катехизис революционера // *Будницкий О.В.* История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях. Ростов-на-Дону, 1996. С. 48.
4. *Достоевский Ф.М.* Дневник писателя за 1873 год II *Достоевский Ф.М.* Полное собрание сочинений. В 11 т. Т. 9. СПб., 1895. С. 331.
5. *Засулич В.* Воспоминания. М., 1931. С. 63.
6. *Русанов И.С.* Из литературных воспоминаний // *Гаршин В.М.* Избранное. М., 1985. С. 358.
7. *Суворин А.* Дневник. М., 1992. С. 16.
8. *Достоевский Ф.М.* Братья Карамазовы. Т. 1. М., 1980. С. 302.
9. *Гулыга А.В.* Искатель истины // *Соловьев В.С.* Избранное. М., 1990. С. 23.
10. *Чехов А.П.* Повести. М., 1985. С. 186.
11. *Городницкий Р.А.* Савинков и С.С.К. по делу Азефа // *Минувшее.* Вып. 18. М.-СПб. С. 196.
12. *Савинков Б.В.* Воспоминания террориста. М., 1990.
13. *Созонов Е.* Воспоминания об И. Каляеве // *Памяти Каляева.* М., 1918.
14. *Зензинов В.* Пережитое. Нью-Йорк, 1953. С. 273.
15. Вел. кн. Елизавета Федоровна. Письма к Николаю II // *Источник.* 1994. №4. С. 23, 24.
16. *Милюков П.* Воспоминания. В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 406.

© А. Баранов, 1998